

— AVEIN EIDIRA —

МИР ПРОКЛЯТОЙ МАГИИ

— ПЕРВЫЙ ХРАНИТЕЛЬ —

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

— Игорь Толмачёв —

18+

Игорь Толмачев

Мир проклятой магии.

Первый хранитель

<https://litres.ru/73574072>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ингвар умер в одном мире и очнулся в другом — в чужом теле, среди руин, войны и магии, за которую всегда приходится платить.

Здесь дар не делает человека избранным. Он ломает тело, отравляет разум и постепенно превращает силу в проклятие. Ингвару бы просто выжить и понять, чья жизнь досталась ему вместе с новым телом, но чужая война быстро находит его сама.

Дорога к Асгарду, исчезновение одарённых, древние руны и знак белой птицы втягивают его в историю, начавшуюся задолго до его появления.

Чтобы выжить, Ингвару придётся принять силу, от которой разумнее было бы бежать. И очень скоро станет ясно: в этом мире страшнее не умереть. Страшнее — стать тем, кого будут бояться даже свои.

Тёмное фэнтези 18+: попаданец, руническая магия, жестокий мир, морально неоднозначный герой и цена силы, которую невозможно заплатить без последствий.

Содержание

Пролог. Пепел времён.	4
Глава 1. Возрождение.	9
Отголосок I. Тень на дороге	14
Глава 2. Асгард	19
Отголосок II. Рыжая лента	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Игорь Толмачев

Мир проклятой магии.

Первый хранитель

Пролог. Пепел времён.

26 августа 7546 года эры Изначальной Магии. 13:24.

Город притворялся ещё живым.

С высоты крепостной площади он и правда казался живым: красные крыши, белые стены, люди у ворот и тревожные колокола. Колокола били яростно, будто могли удержать небо от падения ещё на несколько вдохов.

Я стоял у края площади и смотрел вниз без злости. Я помнил ярость: жар в груди, дрожь в пальцах, желание рвать зубами собственную беспомощность. Но сейчас внутри было тихо — неприлично тихо для человека, пришедшего сжечь город.

Пепел падал ещё до первого удара. Серые хлопья кружились в воздухе, липли к рукавам, таяли на коже холодом, будто этот день уже случился где-то впереди, а мир только лишь догонял собственную гибель.

— Я не хотел этой бойни, — произнёс я негромко.

Мой голос не дрогнул. Он прозвучал так, будто я объявлял не казнь, а итог давно просчитанной сметы.

Он прорезал звон колоколов и крики внизу так легко, словно город сам тянулся услышать приговор.

Я действительно не хотел. Когда-то. В другой жизни. До той ночи, когда Ирий шептал под кожей и учил спокойствию, похожему на смерть. До понимания: у милости тоже есть цена, и слишком часто её платят те, кого ты пытался защитить. До их крови. До той черты, после которой милость становится похожей на предательство.

Пальцы сомкнулись на посохе. Древко ответило низким гулом. В правой руке проснулся холод — не мороз, а пустота глубже льда. Следом пришло белое пламя. Оно не жгло кожу, но заставляло кости вспомнить боль. На кончиках пальцев вспыхнули малые молнии, а рунная вязь вдоль предплечья ожила, собирая силу в один тугой узел.

Внизу кто-то молился. Кто-то приказывал закрыть ворота. Кто-то звал ребёнка по имени.

Я слышал их всех.

Но не почувствовал ничего.

На краю сознания шевельнулся испуг другого меня. Не за них — за себя. За пустоту, пришедшую вместо ненависти. За лёгкость, с которой разум отделял виновных от случайных, а потом всё равно ссыпал их в одну чашу весов.

Мир сузился до точки над цитаделью.

Там, за камнем, железом и защитными контурами, прята-

лись те, кто слишком долго прятал чужую кровь за политической. Те, кто решил, что мой род и мои мёртвые — всего лишь расходная строка в их большой игре.

Сфера родилась за два удара сердца. Сначала искра. После узел огня, льда и той силы, которой в этом мире так и не придумали честного имени. Воздух вокруг почернел: сама реальность не желала касаться моего творения.

Я бросил её.

Сфера пролетела над стенами почти бесшумно. Только в последний миг город услышал её — не ушами, кожей. Люди остановились. Многие подняли головы. Наверное, кто-то успел увидеть маленькое солнце, падающее в центр их мира.

Потом свет раскрылся — как если бы небо вдруг вспомнило, что тоже умеет гореть.

Огненные кольца пошли от цитадели, сметая крыши и человеческие голоса. Башни сложились внутрь, как пальцы умирающего. Камень треснул. Дерево вспыхнуло. Стекло стало сверкающей пылью.

Жар ударил в лицо, но я не отступил.

Внизу метались тени. Среди них были невинные — я знал это. Всякая война питается невинными; этому меня научили быстро. Но сегодня город отвечал не за каждого своего ребёнка. Сегодня он отвечал за тех, кого укрывал, кормил, защищал и называл своими хозяевами.

Я снова поднял посох.

Вторая волна далась тяжелее. Рёбра стянуло болью. По по-

звоночнику прошла рунная дрожь, заставив зубы стиснуться до хруста. Где-то глубоко, в недрах Ирия, что-то ответило мне.

Не одобрением или запретом.

Оно просто узнало.

И этого оказалось достаточно.

Поток сорвался с руки и ударил в основание цитадели. На миг весь город ослеп. Потом центральная крепость вздулась изнутри и разлетелась, выбросив в небо камень, металл и тела.

Колокола смолкли.

Тишина после них оказалась почти нежной и от этой нежности хотелось выть.

Я стоял среди пепла, и ветер тянул за полы плаща, будто звал уйти. Но уходить было рано. Мои враги были где-то там — под землёй, за последними контурами. В тайных залах, где они уже поняли, что их стены не спасут.

Я не знал их точного места.

Зато знал другое: пока хотя бы один из них дышит, этот день не окончен.

— Вы хотели отнять у меня право на возмездие, — сказал я, глядя на пылающее сердце города. — Придётся узнать, как выглядит человек, которому более нечего терять.

Пепел ложился на плечи мягко, почти ласково — как рука того, кто уже простил тебя за падение, потому что давно ждал его.

И где-то внутри, под холодом силы, под спокойствием, которое однажды назовут Avein Eidira — безумием проклятых, — ещё бился мальчишка из другого мира.

Он боялся не огня.

Он боялся, что однажды я перестану слышать его голос.

Я сделал шаг вперёд.

Глава 1. Возрождение.

19 марта 2030 года н.э.

В отражении витража торгового центра на меня смотрел человек, которому давно пора было остановиться.

Не отдохнуть. Не «выспаться на выходных». Именно остановиться — пока организм не решил сделать это сам, в форме куда радикальнее отпуска.

Лицо в стекле было бледным и отёкшим, под глазами лежали серые тени. Щетина давно переросла лёгкую небрежность и стала жизненной позицией. Куртка висела как на чужом. Плечи сведены, взгляд пустой и злой. Я усмехнулся. Витраж ответил тем же выражением лица, только у него получилось убедительнее.

— Красавец, — пробормотал я. — Мечта налоговой и психиатра.

Последние месяцы выжали из меня всё, кроме привычки двигаться дальше. Проектный бизнес в России — штука странная: на бумаге ты предприниматель, почти хозяин жизни. На деле — человек, который ночью считает чужие квадратные метры, утром ругается со смежниками, а вечером пытается понять, где взять деньги на зарплату.

Деньги, к слову, тоже имели привычку исчезать.

В моём случае они ушли вместе с бывшей девушкой, машиной и накоплениями за три года. Ушла она аккуратно, без

сцен. Просто однажды стало ясно: у меня больше нет ни отношений, ни денег, ни уверенности, что я вообще умею выбирать людей.

Потом начались долги.

Просрочки. Звонки. Обещания «завтра точно закрою». Та особая форма усталости, когда ты уже не паникуешь, потому что на панику тоже нужны силы.

Я отвернулся от витража.

Весна в Южно-Сахалинске наступала нехотя. Снег вроде бы сдал позиции, но воздух всё равно кусал за лицо. Я утром забыл пальто, однако холод почти не чувствовал. Отмечал его как факт: ветер есть, температура неприятная, нормальные люди кутаются. Я же шёл к ресторанчику у торгового центра и думал только о том, что клиент опять опоздает.

Телефон завибрировал в кармане.

Конечно.

— Доброе утро, Михаил. Только не начинай с того, что проект опять надо ненадолго поставить на паузу.

— Ну не совсем, — виновато протянул он. — Попал в пробку. Минут на тридцать задержусь. Это критично?

Я посмотрел на часы.

Критично было всё: сроки, сметы, зарплаты, тело, которое уже начинало намекать, что бессмертие в мой договор не входило.

— Нет. Буду ждать.

Короткие гудки прозвучали почти милосердно.

Михаил был из тех заказчиков, которые всегда платят, но перед этим успевают проверить твою веру в человечество. Он мог исчезнуть на месяц, потом вернуться со словами «мы тут чуть-чуть поменяли планировку» и прислать файл, где «чуть-чуть» означало половину здания. Но платил хорошо. Поэтому я, как взрослый и разумный человек, продолжал страдать за деньги.

В ресторане было тепло. Я заказал кофе с молоком и пару сэндвичей — свой маленький ритуал человека, который делает вид, что у него всё под контролем. На экране над барной стойкой шли новости. Ведущий ровным голосом говорил об очередной атаке на Запорожскую АЭС, заявлениях штаба и словах, от которых нормальный человек должен был бы перестать жевать.

Я откусил сэндвич и поймал себя на мысли, что день, возможно, не так уж плох.

Да, долги. Да, офис после пожара у соседей до сих пор пахнет гарью и дешёвой краской. Да, строители снова кормят завтраками. Но кофе горячий, клиент опаздывает — значит, есть тридцать минут тишины.

Тишина умерла в 11:13 — без крика, просто перестала быть.

Я успел подумать о зарплате ребятам. Не о бывшей, не о долгах, не о том, что страшно умирать, а именно о ней: только бы деньги успели дойти. В этом было что-то жалкое и до боли человеческое. Даже перед концом мира я продолжал

считать чужие обязательства своими.

Сначала пришёл свет.

Не вспышка от камеры и не солнечный блик. Белая, всеобъемлющая стена. На миг в ней исчезло всё: лица, столы, руки официантки, стеклянные витрины. Я успел только зажмуриться — и понял, что веки не спасают.

Потом пришёл звук.

Он не ударил. Он раздавил. Мир сложили пополам и разорвали по сгибу. Пол под ногами вздрогнул, окна вспухли и превратились в осколочную пыль. Людей швырнуло в стороны. Кто-то закричал, но крик тут же утонул в реве воздуха.

Я открыл глаза — зачем-то. На улице машины сталкивались, как игрушки. Здания теряли фасады. Вдалеке поднимался гриб света и пепла, слишком огромный, чтобы мозг мог принять его за реальность.

«Нет», — подумал я.

Тело поняло раньше меня.

Жар прошёл сквозь кожу так быстро, что боль не успела стать болью. Лицо, руки, грудь — всё исчезало одновременно. В ушах лопнуло. В лёгких не осталось воздуха. Мир превратился в белый шум.

Я умер — быстро, буднично, без последней красивой мысли и без права досказать самому себе хоть что-нибудь важное.

И всё же продолжал осознавать себя.

Это было даже не темнота. Скорее — отсутствие места.

Я был нигде и везде сразу, без тела, без дыхания, без веса. Страха не было. Мысли текли медленно, вязко.

«Вот и всё?»

Потом что-то схватило меня снизу.

Не руками. Не силой тяжести. Чужим, голодным течением. Меня потянуло вниз, сквозь пустоту, сквозь боль, сквозь невозможность. Я попытался вдохнуть — и лёгкие заполнила мерзкая жижа с запахом тины и гнили.

— Живой?

— Вроде дышит.

— Слиzenь чуть не утанул его на дно.

— Уходим. Если мы не доберёмся до территории храма до захода светила, то можно будет попрощаться со своим родом.

Я не знал языка. Но смысл почему-то прорезал сознание, как свет сквозь мутную воду.

«Кто вы?.. Где я?..»

Ответа не было.

Только холод, грязь, чужие голоса — и новая жизнь, которая началась не с крика младенца, а с удушья.

Отголосок I. Тень на дороге

Белую птицу на тёмном воске Ариэль впервые увидела в тот вечер, когда отец велел поставить на стол лучший настой.

Тогда знак показался красивым. Просто белая птица с круглыми спокойными глазами.

В роще пахло мокрой корой, ореховой скорлупой и дымом от очага. После дождя листья блестели, будто кто-то вымыл мир к приходу гостя. Младшая сестра прятала в рукаве белые цветы. Брат крутил на пальце ремешок учебного ножа и старался выглядеть так, будто взрослые разговоры его не касаются.

Мать молча сняла со стены охотничий лук.

Вот это запомнилось лучше всего.

Гость пришёл после заката.

Без шума. Без стражи у плеча. Только один человек остался у ворот, под мокрой яблоней, и даже он стоял не как охранник, а как часть ночи, которую забыли выгнать.

Сам гость снял перчатки у порога. Поклонился матери. Назвал отца по имени. Сестре сказал, что белые цветы годятся не только для венков, но и для памяти. Брату — что нож не любит суетливых пальцев.

Брат покраснел и спрятал руку.

Отец засмеялся слишком громко.

Гостя посадили у огня. Не во главе стола — это место

осталось за отцом. Но разговор всё равно повернулся к нему, как трава поворачивается к свету.

Он слушал почти не двигаясь.

Отец говорил долго. Сначала ровно, по-хозяйски, будто перечислял не беды, а дела на завтра. Потом голос стал ниже. В словах появилось то, что дети слышат раньше смысла: усталость человека, который уже просил помощи и слишком часто получал обещания.

Гость не перебивал.

От этого отец говорил всё тише.

Наконец он замолчал.

В комнате стало слышно, как младшая сестра мнёт цветы в рукаве.

— Караваны обходят нас стороной, — сказал отец. — У моста берут своё дважды. Наместник только обещает. Если так пойдёт дальше, к зиме мы потеряем дорогу. А потом и дом.

Гость поставил чашку на стол. Очень тихо.

— Ты говоришь о дороге так, будто она сама решила уйти.

Отец не ответил. Только провёл большим пальцем по краю чашки — медленно, будто стирал с неё невидимую грязь.

— Я говорю о том, что дом без дороги долго не живёт.

— Дом не умирает от пустой дороги, Лаэр, — сказал гость. — Он умирает, когда все вокруг понимают: на эту дорогу можно положить чужую тень, и хозяин дома ничего не

сделает.

Отец сжал чашку крепче.

— Поэтому ты позвал меня не говорить о караванах, — продолжил гость. — И не жаловаться на наместника.

Он чуть повернул чашку пальцами, будто выбирал, какой стороной поставить её к огню.

— Ты позвал меня, потому что камни не держат жалоб. Имена — тоже. На дороге помнят одно: чья тень лежит на ней после заката.

Мать опустила взгляд. Её пальцы сжались на краю стола.

— Тень тяжёлая вещь, — сказала она.

Гость посмотрел на неё с мягким уважением.

— Лёгкая тень годится только для полудня. После заката под такой тенью чужие руки слишком легко проходят мимо двери — и останавливаются у горла.

Отец молчал. В тот вечер впервые стало видно: взрослый может просить, не произнося просьбы. Просто сидеть перед другим человеком и ждать, пока тот решит, сколько стоит твоё завтра.

Гость достал из внутреннего кармана маленькую печать.

Тёмный воск. Красивая белая птица со спокойными круглыми глазами.

— Я могу положить эту птицу на ваши письма, — сказал он. — На тюки. На двери складов. На дорожные бирки. Люди у моста увидят её и поймут: брать с вас второй раз — плохая привычка.

— Сколько? — спросил отец.

Гость чуть улыбнулся.

Не обиделся. Не рассердился.

От этого стало почему-то хуже.

— Серебром платят тем, кто уходит после расчёта. Я не ухожу. Я оставляю знак.

Младшая сестра подняла глаза.

— Птицу?

Гость повернулся к ней, и в его лице впервые появилось что-то почти тёплое.

— Птицу, маленькая. Она будет сидеть тихо. Если её не обижать.

Отец побледнел.

Тогда казалось: гость просто говорит о птице.

— А если однажды ты попросишь слишком много? — спросила мать.

Отец резко посмотрел на неё.

Гость — нет. Он будто ждал именно этого вопроса.

— Тогда вы скажете, что моя тень стала тяжелее пользы. И попытаете выйти из-под неё.

— А ты позволишь?

— Если сможете.

Он сказал это спокойно. Без угрозы.

И именно поэтому каждое слово осталось в памяти.

Отец долго смотрел на белую птицу. Потом взял печать.

И в этот миг он будто стал ниже ростом.

Перед уходом гость подозвал её.

— Подойди.

Она посмотрела на отца. Тот кивнул.

Она подошла.

Гость достал тонкий нож для писем. Серебристое лезвие с тёмной рукоятью и маленькой белой птицей у основания.

— Красивые вещи должны быть полезны, — сказал он.

Нож был лёгкий. Почти игрушечный. Но когда он лёг в ладонь, пальцы почему-то похолодели.

— Благодарю, — сказала она.

— Не благодари раньше времени. Красивые вещи редко дарят просто так. Сначала узнай, что он умеет резать.

Он коснулся двумя пальцами её лба, как человек, который ставит незримую отметку и знает, что ребёнок всё равно ничего не поймёт.

Потом он ушёл.

После него в доме долго молчали.

А потом всё действительно стало лучше.

Именно поэтому ловушка закрылась не сразу.

Именно поэтому никто не услышал щелчка.

Глава 2. Асгард

19 сентября 7520 года эры Изначальной Магии.

Левый ремень на повозке опять провис.

Любой нормальный деревенский мужик махнул бы рукой и поехал, пока дорога сухая. Мирон у ворот сказал бы: «До Асгарда дотянет». Доброслав сказал бы примерно то же самое, только с тем выражением лица, каким старшие братья веками смотрят на младших, решивших усложнить мир.

Я подтянул ремень ещё на одну дырку.

В прежней жизни я слишком часто видел, как «и так сойдёт» превращается в смету, переделку и виноватого с глазами телёнка. Здесь слово «переделка» обычно означало сломанную ось, сорванную спину и половину товара в грязи. Декорации другие, глупость та же.

— Если ты сейчас начнёшь объяснять, как колесо думает о будущем, я уйду пить воду, — предупредил Доброслав.

Он стоял рядом — широкий, пепельноволосый, спокойный до раздражения. На таких людях держатся ворота, амбары и младшие братья, которые слишком рано начинают считать себя взрослыми.

— Колесо о будущем не думает, — сказал я. — Поэтому за него приходится мне.

— Вот видишь. Начал.

Я усмехнулся и постучал костяшками по усиленной оси.

Неделю назад она выдержала две лишние бочки зерна и яму у мельничного спуска, где старая телега обычно начинала умирать вслух. Доброслав это помнил. Именно поэтому ворчал уже без настоящей злости.

К новой жизни я привыкал долго.

Не к телу. Тело оказалось честным: растёт, болит, набивает синяки, хочет есть, мёрзнет, но учится. Оно научилось держать нож, бегать по мокрой земле, таскать мешки и не реветь, когда старшие смеются.

Сложнее было с другим — с мыслью, что мир, в котором я умер под термоядерным солнцем, действительно остался где-то там, за невозможной чертой. А здесь меня звали Ингваром. Не Игорь, конечно. Но достаточно близко, чтобы первое время каждый оклик цеплял старую память, как крючок за кожу.

Теперь почти не цеплял.

Дым над крышами, скрип ворот, запах тёплой золы, Катин смех, тяжёлая ладонь Доброслава на плече — всё это перестало быть декорацией. Не заменило прежний мир. Просто стало настоящим.

— Скоро выезжаем, — сказал брат, затягивая тент. — Соль, шкуры, травы для матери, заказ у Клима. И без твоего «а давай ещё заедем туда, где пахнет неприятностями».

— Я запомнил: соль, шкуры, травы, Клим. Неприятности в список не вносил.

— Вот именно это меня и тревожит. У тебя самое опасное

обычно появляется между строк.

— Значит, надо писать мельче.

Доброслав фыркнул.

Формально мы жили на землях князя Никона. По правде — на земле Ледовичей, потрёпанной войной, обедневшей, но всё ещё нашей. Дед, Дмитрий Ледович, чаще бывал в Асгарде, чем дома: городские советы, княжеские дела, старые связи и такие разговоры, куда младших обычно не зовут. Здесь оставались мать, Доброслав и несколько десятков дворов, которые привыкли смотреть на наш дом, когда надо было решать, ждать ли беду стоя или сидя.

Мне доставалось всё, что трещало, проседало или требовало Ода.

Последнее нравилось мне меньше всего.

На память о первом дне в этом мире у меня остался шрам на ноге. Болотная тварь, похожая на оживший мешок с зубами, чуть не утянула меня под воду. Я успел хлебнуть чёрной жижи с запахом тины и гнили, прежде чем Доброслав вцепился в мой ворот и выдернул меня на берег. С тех пор брат иногда смотрел на меня так, будто проверял, не собираюсь ли я снова найти способ умереть из любопытства.

Командиром он мне не был. Старшим братом — да. Разница огромная, хотя Доброслав, когда ему было удобно, делал вид, что её нет.

Из сеней выскочила Катя — рыжая, веснушчатая, босая, несмотря на утреннюю сырость. Мать, Марья, шикнула на

неё из дверей, но сестра только сильнее прижала к груди узелок.

— Это тебе, — сказала она и сунула его мне в руки. — Хлеб и яблоки. А за это потом вырежешь мне дракона.

— За хлеб берут медью, а не драконами.

— Значит, будешь должен. Только дракон должен быть злой.

— Почему обязательно злой?

Катя посмотрела на меня так, как дети смотрят на взрослых, которые вдруг сказали непростительную глупость.

— Добрый защитник никого не пугает.

Доброслав хмыкнул. Я спрятал узелок под тент и щёлкнул сестру по носу.

— Ладно. Злой. С крыльями и зубами.

— И хвостом.

— Хвост — это уже отдельная оплата.

Она показала мне язык и убежала к крыльцу, где мать стояла в тени дверного проёма. Бледная. Усталая. Всё равно прямая.

Я поднял руку. Она ответила слабой улыбкой.

Тогда просьба Кати показалась обычной детской наглостью. Позже я понял: некоторые долги лучше платить вовремя. Особенно если платишь резным драконом, а не кровью.

Мы вывели повозку за двор.

На воротах дрогнули охранные вязи Перунова круга. Индиговые линии прошли по дереву и железу, как холодные жи-

лы под кожей. Старые семейные клятвы, дедова работа, чужие руки, чужие ошибки — всё сплетено так плотно, что без дара в этом виделся только красивый узор.

Я видел больше.

Слабый узел слева. Лишняя утечка на нижней скобе. Чужая подпорка, которую Мирон, конечно же, поставил «временно» и наверняка уже успел забыть.

Я коснулся ворот пальцами и подлил в вязь тонкую нить Ода.

Мир на миг стал неприятно простым.

Дерево. Железо. Сила. Зазор. Исправить. Дозировать. Не чувствовать.

Не злиться на Мирона. Не радоваться дороге. Не слышать, как Катя шмыгает носом у крыльца.

Просто задача.

Я убрал руку.

— Опять? — тихо спросил Доброслав.

— Ничего. Круг просит ремонта.

Брат посмотрел внимательно. Слишком внимательно для разговора о воротах.

Дед говорил: с Одом страшнее всего не сила. Страшнее тишина после неё.

Я заставил себя усмехнуться.

— Вернёмся — прибью левую скобу. А если Мирон снова подопрёт её поленом, прибью и полено. К Мирону.

Доброслав фыркнул, и мир понемногу вернулся: сырой

воздух, лошадиный запах, скрип колёс, Катя у крыльца и мать за её плечом.

Деревня осталась позади.

Домов у нас было немного — несколько улиц, прижатых к частоколу, сторожевые вышки, колодец, кузня, амбары и вечная ругань о том, кто опять пустил коз к капусте. Но для этих мест это уже почти крепость. По ночам за оградой оставались зверьё, случайные лихие люди и лес, который слишком внимательно смотрел на огни.

В полудне езды начинался Тёмный лес.

Лесники рассказывали про волков с красными глазами, медведей с когтями длиннее ладони и травы, от которых раны неделями не хотят закрываться. В старых руинах, по их словам, камни помнили голоса мёртвых. Я не верил половине рассказов. Второй половины хватало, чтобы не проверять.

К закату серые стены Асгарда поднялись над дорогой, как чужая воля. На башнях зажигали огни. У ворот толпились купцы, крестьяне, пара наёмников и трое писарей с лицами людей, способных превратить любую дорогу в налог.

За въезд мы заплатили пятнадцать медных монет. Стражник пересчитал их дважды, посмотрел на наши сапоги, на повозку, на гербовую застёжку Доброслава и стал заметно вежливее.

— Ледовичи?

— Они самые, — ответил брат.

Стражник кивнул и пропустил нас внутрь.

Асгард пах дымом, хлебом, лошадьми, мокрым камнем и деньгами.

У ворот спорили двое купцов. Один тыкал стражнику в бумагу с красной печатью, второй шипел, что за такой пропуск уже уплачено людям, которые сидят выше ворот и ниже княжеских глаз. Стражник слушал с видом человека, который не слышит ничего, пока не зазвенит металл.

Доброслав толкнул меня плечом.

— Не пялься. Купцы ругаются — значит, день обычный.

— У одного печать странная.

— У всех печати странные, когда ими хотят платить вместо монет.

На Речной площади слухи текли гуще, чем пиво в дешёвом трактире. Здесь никто не говорил прямо.

У лавки с сушёной рыбой шептались о подмастерье, которого «отправили учиться» так быстро, что сапоги остались дома. У хлебного ряда старуха рассказывала, что у соседской девчонки проснулся дар, а утром пришли люди с красивыми бумагами и забрали её «куда следует». Один возчик сплюнул и сказал, что городская стража теперь видит только то, на что ей разрешают смотреть.

Доброслав слушал вполуха. Он думал о постоялом дворе, еде и о том, чтобы успеть до темноты забрать мои железки.

К Климу мы заехали до постоялого двора.

Клим не был кузнецом. И плотником тоже не был. Он был хуже — старостой Ремесленного дома. Через него проходи-

ли заказы, расписки, сроки, жалобы, чужие обиды и вечная торговля между теми, кто умеет делать руками, и теми, кто умеет объяснять, почему руки должны сделать быстрее.

Ремесленный дом стоял в Мастерском ряду: двор с навесами, складом, тесной конторой и запахом воска, угля, древесной пыли и недовольства. Клим встретил нас взглядом человека, который заранее устал от чужих идей.

— Ледович младший, — сказал он вместо приветствия. — Если пришёл спрашивать, почему готово не всё, ответ простой: твои чертежи издеваются над честными людьми.

— Я тоже рад тебя видеть.

— Радость отдельно, деньги отдельно.

— Тогда говори, что есть.

Клим ткнул пальцем в заказную книгу.

— Плужные ножи и сцепка — здесь. Скобы у Михалыча с утра лежат, сам заберёшь. Дерево Ерёма доведёт через неделю, если не соврёт. Кожу для прокладок обещали к следующему торгу, значит — через два. А большое колесо раньше конца месяца не жди.

— Месяца?

— Через месяц, если Ирий сегодня за твою мельницу. Если нет — к снегу. Я староста, а не чудотворец.

На длинном столе лежали детали для новой сцепки, усиленные скобы, ножи для обработки земли. Ничего великого. Никаких паровых машин, станков и прочего попаданческого безумия. Между идеей и вещью лежали материалы, ин-

струмент, руки и человек вроде Клима, который обязательно скажет, что ты всё усложнил.

Доброслав покрутил одну деталь.

— Это на пашню?

— Если земля не начнёт спорить.

Клим фыркнул.

— Земля всегда спорит. Молча, гадина, зато упрямо.

Пока он заворачивал заказ, в контору вошёл мальчишка-подмастерье. Шепнул Климу пару слов и тут же сделал вид, что просто хотел поправить стопку досок.

Клим перестал ворчать.

— Что? — спросил я.

— Не твоё дело.

— У тебя лицо стало такое, будто как раз моё.

Клим долго смотрел на меня. Потом кивнул мальчишке, чтобы тот вышел, и опустил голос.

— В городе опять спрашивали молодых с даром. Не храмовые и не княжьи. Бумаги красивые, всё чинно. А потом люди уезжают так быстро, что дома про это не успевают узнавать.

Доброслав нахмурился.

— Кто спрашивал?

— Те, чьё имя в Мастеровом ряду не треплют, если хотят дожить до следующего торго.

— Клим.

Староста вздохнул.

— Я старый, не смелый. Разницу не путай. Забирай своё железо и держи брата ближе к свету. В Асгарде сейчас даже стены слушают. И, что хуже, иногда отвечают.

На этом разговор закончился.

Мы вышли из Ремесленного дома с деталями, которые вдруг стали тяжелее своего веса. За лавкой напротив стоял человек в сером капюшоне. Ничего особенного: мешок у ног, опущенные плечи, взгляд мимо нас. В городе таких было десятки.

Через две улицы я заметил похожий серый рукав у винной лавки.

Доброслав тоже заметил, что я смотрю слишком внимательно.

— Не начинай.

— Я ещё молчу.

— У тебя молчание громче чужого крика.

Мы оставили повозку на постоялом дворе. Хозяин получил лишнюю медь и обещание Доброслава, что если с товаром что-нибудь случится, его семейное древо станет короче на несколько ветвей. Брат говорил это почти добродушно. Поэтому ему поверили.

Кухня при дворе уже закрылась.

Хозяин развёл руками и предложил вчерашнюю похлёбку, над которой даже мухи, кажется, держались на почтительном расстоянии. Доброслав заглянул в котёл, помолчал и аккуратно вернул крышку на место, словно боялся потревожить

то, что внутри уже начало жить собственной жизнью.

— Нет, — сказал он.

— Поддерживаю. Я ещё недостаточно отчаялся.

После дороги внутри у меня проснулся зверь, способный спорить с Доброславом за последний кусок жареной птицы. Причём спорить грязно: с аргументами, подлостью и ссылками на то, что младших братьев положено кормить первыми, потому что они ещё растут. Брат, разумеется, такой довод счёл бы оскорблением здравого смысла и моего возраста, но желудок был на моей стороне и урчал с убедительностью храмового колокола.

— На Речной улице жаровня должна быть открыта, — сказал Доброслав, когда мы вышли со двора. — Если хозяин опять не напился раньше гостей.

— Хорошее место.

— Мясо там хорошее.

Ночь была свежей. Камень под ногами темнел от сырости, в окнах горели жёлтые квадраты света, где-то за стеной дома смеялась женщина, дальше хлопнула дверь, и Асгард вокруг нас не спал — просто делал вид, что приличные люди уже разошлись, а неприличные ещё не успели выйти. Воздух пах мокрой мостовой, дымом из труб и чем-то жареным, что почти наверняка находилось не там, куда мы шли. Судьба вообще редко пахнет честно.

— Через сквер быстрее, — сказал Доброслав.

Я посмотрел на узкую улицу между домами. Сквер не был

трущобой у стены и не был пустырьём, где ночью режут за медяк, а потом спорят, кому достанутся сапоги. Днём там торговали орехами, сушёными ягодами и горячими лепёшками, вечером слуги носили корзины из лавок, мальчишки гоняли деревянный обруч, а старухи сидели на лавках и знали о чужих семьях больше, чем сами семьи. Обычное место. Почти приличное. Слишком нормальное, чтобы считать его ловушкой.

Вот это и оказалось ошибкой.

— Конечно, — сказал я. — Тёмный сквер после разговоров о пропажах. Что может пойти не так?

— Если начнёшь перечислять, ужин остынет.

— Ужин ещё надо найти.

— Вот поэтому и идём короткой дорогой.

Доброслав шагнул первым. Я пошёл следом больше из упрямства, чем из согласия: если бы сейчас начал спорить, брат непременно напомнил бы, что час назад я сам страдал о голодной смерти, а быть неправым перед Доброславом было терпимо только тогда, когда он не успевал это заметить.

Сквер встретил нас запахом мокрой земли и старой листвы. Между голыми ветвями висели редкие фонари, их свет ложился на дорожку тусклыми пятнами, под кустами шуршала то ли птица, то ли крыса, а у закрытого ларька стояла забытая корзина с ореховой шелухой. Всё выглядело так, как и должно было выглядеть в городе поздним вечером: немного грязно, немного сонно, немного чуждо, но без той явной

мерзости, которая честно предупреждает — не ходи сюда, идиот.

— Мать велела не забыть травы, — сказал Доброслав.

— Уже взял.

— Все?

— Те, что знахарка написала.

— А те, что мать просила на всякий случай?

Я поморщился.

— Вот сейчас было больно.

— Значит, забыл.

— Не забыл... Отложил до завтра.

— Это и называется забыл.

Я уже открыл рот, чтобы достойно защитить свою честь, память и деловую репутацию, когда впереди хрустнула ветка. Мелочь. Сухой короткий звук, который в любом другом месте можно было списать на кошку, крысу или пьяного слугу, решившего сократить путь через кусты. Я машинально повернул голову и ничего не увидел: только мокрые ветви, тёмную лавку, качнувшийся на ветру фонарь.

— Коты тут жирные, — пробормотал я.

— В городе все жирные, если не люди.

Доброслав усмехнулся и сделал ещё шаг.

Удар пришёл сзади.

Не из кустов. Не с дорожки. Не оттуда, куда я смотрел.

Сзади.

Что-то тяжёлое врезалось мне в затылок, и мир сразу по-

терял глубину. Фонари размазались жёлтыми пятнами, камень ушёл из-под ног, колени ударились о мостовую так, что боль отозвалась в зубах. Рот наполнился кровью. Я не понял, упал сам или меня толкнули, только увидел рядом край Доброславова сапога и услышал, как брат рыкнул — коротко, зло, почти зверино.

Потом началась возня.

Глухой удар. Чужая ругань. Ещё один удар — тяжелее, с хрустом, от которого внутри всё неприятно сжалось. Я попытался подняться, рука скользнула по мокрому камню, пальцы почти нашли рукоять ножа, но кто-то наступил мне на кисть. Боль вспыхнула бело, выжгла остатки воздуха из лёгких. Я дёрнулся, попытался ударить второй рукой — и получил в висок.

Не сильно.

Точно.

Так бьют не в драке, а по работе.

Перед глазами качнулись сапоги. Много сапог. Слишком много для случайной стычки у сквера.

— Этого живым, — сказал кто-то сверху спокойно, почти скучно. — И пепельного тоже. За него отдельно платят.

Доброслав снова попытался подняться. Я не видел его лица, но слышал тяжёлое дыхание, скрежет подошвы по камню, удар тела о стену. Потом короткий хрип — и тишину, от которой у меня внутри всё оборвалось.

Я хотел позвать брата. Хотел выругаться. Хотел хотя

бы вцепиться зубами в чью-нибудь ногу, чтобы потом этот ублюдок всю жизнь хромал и вспоминал, что Ледовичи плохо лежат спокойно.

Тело не слушалось.

Над лицом качнулся сапог. На миг я увидел налипшую на подошву грязь, тёмный край плаща и чужую руку в серой перчатке.

Последняя мысль была глупой и злой:

«Короткая дорога, значит».

Потом темнота сомкнулась окончательно.

Очнулся я от боли.

Она не пришла сразу. Сначала затылок. Потом плечи, вывёрнутые вверх. Запястья, стянутые железом. Рёбра, каждое из которых считало своим долгом сообщить, что оно против моего дальнейшего существования.

Я открыл глаза.

Камера. Без окон. Сырой камень. Железная решётка. Факелы в коридоре. Запах плесени и старого страха. На полу — остатки сгнившей еды, обрывки ткани и то, что при слабом свете лучше не рассматривать.

Руки были вытянуты вверх и прикованы к стене.

Плохая новость.

Хорошая — я всё ещё был жив.

— Кто ты? — раздался женский голос сбоку.

Я повернул голову насколько смог. За соседней решёткой сидела девушка. Лица почти не видно, только глаза в тени и

светлая полоса бинта на руке.

— Ингвар. Где мой брат?

— Если ты про здоровяка — напротив моей клетки. Дышит. Пока.

Слово «пока» мне не понравилось.

— Насколько плохо?

— Голова разбита. Нога, кажется, цела. Если не трогать.

— Хорошо.

Она коротко, неверяще усмехнулась.

— Ты прикован к стене.

Я дёрнул цепи. Металл звякнул и, разумеется, не поддался.

— Это временное неудобство. Где мы?

— Там, откуда обычно не уходят.

Весёлого было мало.

Я закрыл глаза и осторожно вдохнул.

Под болью, грязью и тяжёлым воздухом катакомб я нащупал знакомое течение. Од. Дыхание Ирия. Проклятый дар. В разных устах — разные имена. Для меня — сила, которая жила под кожей и всегда брала плату вперёд.

Вязь на спине проснулась не сразу. Сначала пришёл холод. Потом жжение вдоль позвоночника. Потом мир стал слишком ясным.

Камень. Железо. Замок. Слабое звено. Пульс. Лишняя боль. Не важно.

Страх отступил. Злость тоже. Даже мысль о Доброславе

напротив стала не болью, а условием задачи.

Вот за это я ненавидел Од сильнее всего.

Он не делал меня храбрее. Он делал меня удобнее для насилия.

Я направил силу в запястья.

Цепи раскалились. Металл потёк, капая на камень тусклыми слезами. Кожу обожгло, и только тогда я едва не заорал. Пришлось сжать зубы так, что во рту снова пошла кровь.

Когда железо сдалось, я рухнул на колени.

Несколько секунд стоял на четвереньках и дышал. Мир качался. Запястья пахли палёной кожей. Под ногтями пульсировал холодный свет.

Те, кто строил эту камеру, думали о пленниках.

Зря.

Иногда клетка становится не местом, где держат добычу, а коробкой, в которую по глупости запихали демона.

— Ты чернобоговец? — прошептала девушка.

— Если верить бабкам у печи — возможно. Если верить деду — пока просто идиот, который слишком грубо дёрнул Од.

— Очень утешительно.

— Сам рад. Где ключи?

Дверь в конце коридора скрипнула.

Я успел спрятаться за створкой своей камеры. Вошёл человек в сером балахоне, лениво неся миску. На бедре — нож,

на поясе — связка ключей.

Он увидел пустые цепи и успел сделать ровно одну ошибку: вдохнул перед криком.

Второго вдоха я ему не дал.

Табурет у стены оказался достаточно тяжёлым, чтобы знакомство с ним лишило серого всякого интереса к разговору. Я придержал тело, чтобы оно не грохнулось, обыскал его, забрал ключи, нож, флягу и кошель. Потом оттащил в пустую камеру и запер.

— Спи, приятель, — сказал я тихо. — Сегодня смена закончилась раньше.

Девушка смотрела на меня так, будто никак не могла решить, спаситель я или новая беда.

— Имя? — спросил я.

— Анастасия.

— Брата подлатать сможешь?

— Если откроешь — смогу.

Я бросил ей связку.

— Откроешь сама. У меня есть дело.

— Какое?

Я посмотрел на пустые цепи за спиной.

— Найти того, кто решил, что запереть нас здесь — хорошая идея.

В глубине катакомб пахло хуже.

Аммиак, дым, дешёвая брага и кислый мужской пот висели в воздухе так густо, будто кто-то специально замешал из

всего этого стены. Одно помещение оказалось кухней, другое — пыточной. В коридорах было сыро, факелы горели неровно, а камень под ногами местами темнел пятнами, которым не стоило давать имена.

За поворотом послышался женский смех.

Сначала я решил, что смеётся пленница, которой удалось сойти с ума. Потом подошёл ближе и понял: это не веселье и не безумие. Это петля, завязанная на горле так умело, что со стороны её можно принять за украшение.

Я выглянул из-за угла.

Двое головорезов сидели у стола. На столе — недоеденный хлеб, перевёрнутый кувшин и женский плащ, брошенный так, как бросают вещь, уже отобранную у хозяина. Между ними, у сбитого покрывала, сидела эльфийка.

Красивая. Слишком красивая для такого места — и оттого всё вокруг казалось ещё грязнее.

На её плече темнела выжженная белая птица с распахнутыми крыльями. Не рисунок. Не прихоть. Клеймо людей, чьи имена в Асгарде произносили только вполголоса.

— Работорговцы, — прошептал я сам себе.

Первый головорез схватил её за запястье и дёрнул ближе. Второй, смеясь, потянулся к завязкам на её одежде.

— Ну что, птичка, — протянул он, — хватит чужие счёты считать. Сегодня сама заплатишь за крышу над головой.

Эльфийка улыбнулась шире.

И вот тут всё испортилось.

Улыбка не совпадала с глазами. Губы делали то, что нужно для выживания, а глаза считали нож, дверь, мою тень за углом и расстояние до чужого горла. Так улыбаются зверю, который пока не решил, рвать тебя сразу или немного поиграть с добычей.

Клеймо многое объясняло. И почти ничего не проясняло. Она была связана с ними — добровольно, по принуждению или через такой долг, от которого люди перестают отличать приказ от собственного выбора.

Цепей на ней не было. Двое рядом держались слишком свободно. Страх в глазах был настоящий, но роль она держала крепко. Возможная жертва. Возможная приманка. Возможно... и то и другое. В хаосе неизвестная деталь считается опасной, пока не доказано обратное.

Разбираться можно было потом. Сейчас один из этих ублюдков уже тянулся к ней так, будто имел право.

Я подобрал у стены железный прут.

Первого ударил в висок. Кость отозвалась глухо, как мокрое дерево. Он упал почти без звука, только пальцы на её запястье разжались не сразу.

Второй успел подняться наполовину и даже открыть рот. Нож серого вошёл ему под ребро. Потом ещё раз, глубже. Он осел на пол с удивлённым лицом, будто до последнего не верил, что смерть может прийти в комнату без стука и без разрешения старших.

Эльфийка не закричала. Это я заметил первым.

Потом — что она дрожит. Не сильно. Кончиками пальцев, краем дыхания, ресницами. Тело всё ещё держало роль, потому что слишком долго училось не бросать роль раньше, чем закончится опасность.

Я подошёл ближе.

Она медленно повернула голову ко мне. Опасная. Перепуганная — хотя изо всех сил делала вид, что нет. И всё ещё с белой птицей на плече.

Жалость пришла поздно.

Первым пришёл нож.

Я поднял её за запястье и приставил нож к горлу.

Она не сопротивлялась, и от этого стало только хуже. Так не ведут себя покорные. Так ведут себя те, кто уже не понимает, какой вариант боли сейчас дешевле, и просто ждёт, куда повернёт чужая рука.

— Сейчас скажешь, где мы, где выход и сколько ваших осталось, — сказал я. — Соврёшь — пожалеешь быстро.

Она смотрела на меня снизу вверх. В глазах было слишком много страха для сообщницы и слишком много ненависти для обычной пленницы. Нож у горла она видела. Мёртвых у стола — тоже. И всё равно держалась, будто внутри у неё осталась последняя тонкая кость, которую ещё не успели сломать.

— Я не с ними, — прошептала она.

— Конечно.

— Я не с ними.

Во второй раз голос дрогнул иначе. Не как ложь. Скорее как злость на то, что ей всё равно не поверят.

В другое время я, возможно, услышал бы это. Но сейчас в крови было слишком много Ода, боли и той холодной ясности, после которой люди начинают называть жестокость необходимостью.

Белая птица на плече. Катакомбы. Брат в клетке. Двое мёртвых у ног. Эльфийка, которая знает дорогу.

Возможная жертва. Возможная приманка. Возможный нож в спину.

Я убрал нож от её горла.

Она успела только вдохнуть — и тут же замерла, когда мои пальцы легли ей на плечо.

Я не знал этой вязи. Не учил её, не видел в книгах, не выводил на дощечке под дедовым надзором. Просто в какой-то миг мир разложился на узлы: кожа, дыхание, страх, приказ, запрет, путь. И рука сама нашла, куда тянуть.

Первая нить Ода прошла под её кожей холодом.

Эльфийка дёрнулась, но не закричала. Только стиснула зубы так, что на скулах выступили жилки. Вот это я заметил сразу: она уже умела молчать от боли.

— Что ты делаешь? — выдохнула она.

Хороший вопрос.

Человеческая часть меня тоже хотела это знать.

Та, что сейчас стояла ближе к Оду, ответила спокойно:

— Страхуюсь.

Руническая вязь проступила вдоль её спины тонкими тёмными линиями, цепляющими не тело, а саму возможность выбора.

Она рухнула на колени, упёрлась ладонью в камень и судорожно вдохнула. В тот же миг я почувствовал её страх. Почувствовал — чужой вдох в собственной груди, ледяную воду под рёбрами и ненависть такую острую, что от неё почти хотелось улыбнуться.

— Почему? — спросила она, не поднимая головы.

Ответ уже стоял на языке.

Потому что могу.

Чужой. Холодный. Почти приятный.

— Потому что ты знаешь дорогу.

Она медленно подняла взгляд. В нём была ненависть — живая, злая, не сломанная. Почему-то это принесло облегчение.

— Где выход?

И руны на её спине едва заметно дрогнули.

Отголосок II. Рыжая лента

Когда братья уезжали, дом всегда становился больше. Не просторнее — именно больше. Стены отступали, углы темнели, печь потрескивала слишком громко, а каждый звук снаружи казался шагом у ворот.

Матушка спала плохо. На столе остывал травяной отвар, горький настолько, что даже запах казался лекарством от радости. Катя сидела рядом, перебирала рыжую ленту и думала, что дед, наверное, сумел бы объяснить, почему воздух сегодня тяжёлый.

Под вечер у ворот вспыхнули руны. Не ярко — едва заметно, как если бы кто-то провёл пальцем по спящему зверю. Катя замерла. Защита знала своих. Защита знала чужих. Но иногда она реагировала на то, что ещё только идёт.

Девочка подошла к окну и долго смотрела на дорогу, уходящую к лесу. Там не было никого. Только серый свет, мокрая земля и слишком неподвижные деревья.

— Возвращайтесь, — прошептала она. — Оба.

Рыжая лента в её пальцах затянулась узлом сама собой.

Катя выбежала к воротам уже после того, как повозка скрылась за поворотом.

Она знала, что так нельзя. Мать говорила: за охранную черту одной не выходить, стражу не мешать, в лес не смотреть слишком долго. Особенно последнее. Взрослые поче-

му-то думали, что если ребёнку запретить смотреть, лес от этого перестанет смотреть в ответ.

Катя остановилась у частокола и сжала в кулаке рыжую ленту. Хотела отдать Ингвару. Просто так. На удачу. Он бы, конечно, рассмеялся, сказал что-то вредное и спрятал ленту в карман так, будто она ему не нужна. А потом носил бы. Она знала.

Ингвар был странным братом — самым странным и потому самым интересным.

Доброслав был понятным: тёплый, большой, надёжный, пахнущий сеном и дымом. Если рядом Добр, значит, всё будет хорошо. Даже когда не хорошо, всё равно как-то держится.

Ингвар был другим. Иногда он смотрел на вещи так, будто видел не то, что видят остальные. На колесо — и уже думал, как заставить его работать лучше. На сломанную дверь — и злился не на поломку, а на глупость того, кто её сделал. На небо — и вдруг становился чужим, очень взрослым, почти старым.

Но Катя любила его именно за это. За странность. За то, что он мог вырезать ей деревянного зверя с крыльями и всерьёз объяснять, почему в природе такой зверь летать не сможет. За то, что ругался, когда она лезла к его инструментам, а потом всё равно учил держать нож правильно. За то, что однажды ночью, когда ей приснилась болотная пасть, сел рядом и сказал:

— Страх не исчезает. Его просто можно поставить на цепь.

Тогда она не поняла. Сейчас вспоминала часто.

У ворот шевельнулись руны. Синее свечение прошло по витым линиям и погасло. Привратник, старый Мирон, покоился на девочку.

— Чего стоишь? Мать заругает.

— Они доедут до города до темноты?

— Доедут. Дорога сухая.

— А волки?

— Волки умные. На Добра не полезут.

— А на Ингвара?

Мирон хотел ответить шуткой, но

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.